

МИХАЛЬ ГОВРИН

ИМЯ

Моим матери и отцу

С Божьей помощью

*Сегодня девять дней – неделя и два дня Счета снопов.*1*

Сила в Силе.

Да будет воля Твоя, Господь мой и Господь праотцев моих, чтобы в заслугу счета омера, сочтенного ныне, исправлено было то, что нарушила я в сефире «Сила в Силе», и да очищусь, и да освящусь высшей святостью. И да изольется тем самым благодать великая во всех мирах, дабы исправить души наши, и дух наш, и волю нашу от всякого изъяна и ущерба, и очистить нас, и освятить высшей святостью Твоей.

Амен сэла!

Да будет воля Твоя, Господь мой и Господь праотцев моих, чтобы достигла Тебя молитва моя, ибо Ты слышишь молитву всяких уст.

Да примешь меня с охотой и с любовью. Да будет остаток тука и крови моих, тающих ныне, как тук, возложенный на жертвенник пред Тобою, и да возжелаешь меня.

О когда бы только дано было закончить здесь, когда бы не были неполными жертва моя и искупление мое прежде, чем завершу я труд свой. Кто укрепит ночами руки мои, дабы закончить его, так же, как днями буду стараться закончить святой труд ткачества. Тебе и только Тебе, Единому, всей волей моей.

Когда раскроются освобожденные от переплета страницы, душа моя уже будет вплетена в ткань занавеса - касания уст Твоих, лазурного небосвода таинств и сплетений шелка.

Еще сорок дней, а тело уже пылает в пламени Твоем.

Еще сорок дней. Протянуть конец нити туда и обратно, обмотать ее вокруг шпулек, перенести, связка за связкой, на навой, продеть, струна за струной, сквозь отверстия ламелей, сквозь глазки ремизок, сквозь зубья берда, закрепить ее, ленту за лентой между рамами ткацкого станка. Еще сорок дней переносить нить за нитью плетение утка в дрожание основы. Еще сорок дней до того, как, наконец, с распахнутыми объятьями... К Тебе. Тело к телу, дыхание в дыхании. Ночь черна. И в большой комнате со сводчатым потолком почти совсем темно. Я установила стол вплотную к окну, и только круг света от единственной лампы очерчивает нас, а вся комната - и здесь, и не здесь. Так лучше. Вернее. И висящий занавес, пустые нити основы, натянутые между рамами станка, - тоже не более, чем его собственный шелест, смешивающийся с тишайшим шорохом пыли, поднимающейся от пустыни и оседающей на камнях оконного проема, на подоконнике. На столе вокруг меня – бумаги. А в шкафу – закрытые коробки с фотографиями. Я всё еще не уверена, что они мне понадобятся, что я еще взгляну на них прежде, чем закончу работу. Мне по-прежнему достаточно с неизменным недоумением провести пальцем вдоль бровей, вниз по носу, по

губам, упереться языком во впадины щек, под кости скул, ошупать гибкий и мягкий материал. Комочек глины, который Ты создал и который Ты заберешь.

О эта пожирающая страсть к разрушению! Мгновенно добежать до конца нити. Враз разорвать. Тотчас раствориться, отдаться душой и телом. Тотчас схорониться в Твоих объятиях. Что за наслаждение...

(И малодушные, злые мысли, сеющие раздор во всем моем существе. О если бы Ты призвал меня немедленно и не требовал бы ответа! О если бы Ты сразу укутал меня одеждами своими и возжелал меня!)

Пылает тающий материал напуганного тела, и огонь Твой уже горит во внутренностях моих. Еще сорок дней – и стану я остывшим пеплом на жертвеннике Твоем.

Ночь черна. Почти вся комната во мраке. Лишь тусклый свет пробивается в переулочек из окон. Надеюсь, что никто из моих темных соседей не видит движения тени и не подозревает о том, что я бодрствую здесь. Нет, не убоюсь я их. Да и чего мне теперь страшиться? Я только не хочу, только не хочу, чтобы их взгляды, полные тьмы, задерживались на окнах моей комнаты, чтобы кто-то во всем мире сейчас помыслил обо мне, даже тот, кто, возможно, пройдет по спящему переулочку и поднимет взгляд на светящиеся арки окон.

Всё готово во мне. Устремлено к одному. До последнего дня этого счёта, до Царства в Царстве. До последнего очистительного соития.

Да будет воля Твоя, дабы Ты принял меня с охотой и любовью. И да будет воля Твоя, дабы Ты внял мольбе моей. И да будет воля Твоя, дабы остаток тука и крови моих стал туком, возложенным на жертвеннике Твоем пред Тобою.

И да возжелаешь меня.

*Десять дней – неделя и два дня Счёта снопов.
Великолепие в Силе.*

Год назад. В точности. В тот же день, в подень, вернулась ты из лавки Фриды Шмидт. Уже давно ты не выходила отсюда, из этого дома на краю города, а в тот день отправилась в «Магазин рукоделия дочерей Израилевых» покупать мотки голубой и белой пряжи, чтобы приступить к святому ткачеству. Возвращалась на автобусе. Тело скрючилось на заднем сидении, а полные шерсти пакеты ты держала на коленях. Рука терлась о жестяную стенку, а врывающийся в оконную щель ветер трепал волосы. То был первый ясный день лета, один из тех, что случаются в начале Счёта снопов. В городе царила толчея, и автобус продвигался с трудом. Над раскрытым до горизонта садом висели вдали минареты и цветные купола церквей, и над кронами деревьев поднималась легкая голубоватая дымка.

Внезапно будто сосуд лопнул в виске, резкий укол страха пронзил грудь, прижатые к сидению ноги вспотели под платьем, а вид неба в окне покрылся расплывающимся пятном пара ото лба, прижатого к прохладному стеклу. Ты изо всех сил вцепилась в полные нежности пакеты, но прикосновение шерсти лишь

усилило панику. Сошла на ближайшей к дому остановке, всё тело дрожало и члены ослабли, пришлось долго стоять, прислонившись к парапету у перекрестка, вдыхая пыль и копоть, прежде, чем хватило духа поднять с грязного асфальта пакеты с шерстью и продолжить свой обходной путь к дому. По дороге ты старалась успокоиться. Разве всё не идет, как следует, честь по чести? Всё давно уже кончено, ведь не даром прошли два года прилежного учения в семинарии «Приют Рахили», даже рав Израэль сказал, что ты из серьезных, и похвалил за решение подождать еще год с замужеством, чтобы укрепиться в вере, и дал свое благословение на то, чтобы пока ты для заработка обучилась ткачеству. И ведь до сих пор ты смиренно выполняла только простые работы: шерстяные подушечки, салфетки. Ты всё еще откладываешь начало святого труда, колеблешься, ждешь, когда станешь сильнее. Рав Израэль дал тебе свое позволение.

- Ты подготовилась в совершенной вере, Амалия, - сказал он при вашем последнем разговоре. – Да, ты уже можешь, с Божьей помощью, приступить к изготовлению молитвенных покрывал*2. – И посоветовал: - Начни, если Господу будет угодно, после этой Пасхи.

Потому-то ты и поехала поутру покупать в городе мотки шерсти с таким смирением... А как молилась ты в последние дни, с каким чувством, содрогаясь всем телом над почти прозрачными от частого перелистывания страницами молитвенника, отгоняя прочь всякую мысль о сомнении, примешивающемуся ко всякому твоему движению, об опасениях еще не окрепшего больного... Да и разговор с равом Израэлем Готхельфом по поводу сватовства откладывала уже дважды под выдуманными предложениями...

В ту ночь тебе не хотелось ложиться, ты продолжала ткать допоздна, словно прикованная к стоявшему тогда в комнате маленькому ткацкому станку, и прокладывала уток теплых оттенков, чтобы закончить последнюю салфетку перед тем, как натянуть основу талита. И отчего-то всё время боялась поднять взгляд к окнам, к зияющей в них тьме пустыни. После полуночи, уже в постели, прочла «Шма Израэль», затягивая молитву больше, чем требовалось, и лишь затем решилась нырнуть под простыню. И по-прежнему старалась не задумываться о случившемся в тот день в автобусе. Уже по второму разу прочла при свете ночника навязший в зубах абзац маймонидовых «Законов раскаяния»

*3 пока буквы не перестали складываться в слова. Сильно напрягала зрение, и зрачки слепли от снопа резкого света на бьющих в глаза типографских знаках:
**Изпудейпокаяниядолжновозкающемусявопитьпостояннопредименемгосп
однимвплачемольбахитворитьмилостынюпосильнуюиотдалятьсявесьмао
ттоговчемсогрешилиперемениитьмясвоеговорядругойчеловеканетоткто
свершилпоступкитеиизменитьвсепоступкиклучшемуистатьнапрямойпути
уйтиизместасвоегоибоизгнаниеискупаегрехиибозаставляетсмиритьсяистат
ьскромнымикротким...**

(Я и не подозревала, что произнесение этих слов способно по-прежнему так взволновать меня - - -

Из путей покаяния: должно кающемуся вопиять постоянно пред Именем Господним в плаче и мольбах, и творить милостыню посильную, и отдаляться весьма от того, в чем согрешил, и переменить имя свое, говоря: я другой человек, а не тот, кто совершил поступки те, и изменить все поступки к лучшему, и стать на прямой путь, и уйти из места своего, ибо изгнание искупает грехи, ибо заставляет смириться и стать скромным и кротким...

Как ужаленная, я отшвырнула бумаги и надолго замерла перед окном, стараясь успокоить себя журчащей ночной сухостью, струившейся с горных склонов, вдыхая дрожащий ток в звездной темноте Твоего дыхания.

Немедленно взять себя в руки и продолжать вопреки страху...

Да будет воля Твоя, дабы собрал сердце мое для служения Тебе всем сердцем моим, дабы стоять пред Тобою и служить Тебе во Имя Твое... Вспомни обо мне, Господи, и укрепи меня только в этот раз, Бог мой...)

Перевела взгляд на сверкнувший лист, пестрящий типографской сыпью, и буквы **шин-хет-тет-алеф***4 набухли и выросли перед глазами, сдвинулись и снова сжались, закончившись неизменным алефом, и против воли ты подумала, что шин – ускользящая буква, хет – почти что крик, алеф шевелит своим полным яда раздвоенным языком, и тут пробел между «переменить» и «имя» увеличился, и разорвал слова: «и переменить имя имя имя», и только губы упорствовали в ханжестве, будто пытаюсь заклинанием стряхнуть скверну с простыней, «я другой человек, а не тот, я другой человек, а не тот», пока тень страницы, едва шелохнувшись, не пала на тебя, увлекая в провалы прерывистого сна.

В час ночи ты проснулась. В висках билась резкая боль, а легкие саднила обида на собственное бессилие выпрямить кривое*5. Попыталась поднять голову с подушки, и тут поняла, что щеки горят от жара непогашенного ночника, а глаза с неприязнью, почти с ненавистью, следили за черным сводом окна, что сотрясался и рушился в такт её одышке, усилившейся от звуков петлявшего в темноте по горным извилам такси. Сжалась в испуге. Вдруг снова Эмили гладит руками водительское сидение и задыхается, словно это она, а не такси поднимается в ночи по извилистой дороге. В красном летнем платье, болтающемся на ее плечах вот уже несколько дней, открывая спину, с красной сумочкой, пылающей, словно пронзительные зрачки в ночной гонке, она хватается за спинку переднего сидения и задыхается, ее длинные волосы потрескивают от скопившегося в них электричества. И вот уже шофер петляет по кварталам, выбрасывая во тьму возвращающихся из аэропорта с их черными шляпами и мрачным багажом, а она всё продолжает настаивать: «Мне необходимо спать в стенах Старого Города, нет, я нигде не заказала номер, но мне это необходимо», и такси снует челноком по основе и утку мерцающих желтыми огнями улиц, то приближаясь к стенам, то снова отдаляясь от них, а она, пребывая всё в том же возбуждении, держится, не отрываясь, за спинку водительского сидения. Пока наконец такси не останавливается в переулке у освещенной розовым неоном двери, и шофер нехотя не вылезает проверить, есть ли свободное место, лениво влача свое грузное тело и подавая ей знаки, чтобы заперлась изнутри. Розовый свет тянется по переулку, растекаясь по пустым рыночным лоткам, по опущенным жалюзи закрытых лавок, а под низким входом кофейни толпятся мужчины, впиваются глазами в ждущее с включенным мотором такси, вплотную придвигают к стеклу лица в полосках света и тьмы.

Жар простынь плавит члены, дыхание тяжело. С усилием ты погасила ночник, и сразу же столп жара рухнул, но вместе с ним со сводов большой комнаты стерся остаток света, и они исчезли в темноте. Натянула на лицо простыню, и ее потные складки закрыли ноздри. Как в тумане решила подождать так, не двигаясь, погруженная в удушье, пока не займется заря. «Я другой человек, я другой, другой», но из гостиницы внезапно возвращается шофер и выпаливает в окошко такси:

- Всё в порядке, есть место. Я вас высаживаю.

И вот он уже нетерпеливо выгружает у входа в гостиницу ее вещи, и машина с резким скрежетом скрывается за поворотом стены. А она, одна в этом красном платье, в ночном переулке, под взглядами, посверкивающими из кафе. Вцепилась в ручку чемодана и не чувствует даже боли в запястьях, даже боли. Только поднимается по полуосвещенным ступеням ко входу, а потом по лестнице на последний этаж, вслед за покрытым тенью и перхотью затылком администратора и тяжелым бряцанием ключей, и на ее волосах дыхание портье, уже принявшего из ее рук чемодан и вносящего его следом в огромную комнату, обставленную с роскошью разложения. Она не обращает внимания ни на лишние кровати, расставленные в комнате, предназначенной, вероятно, для христианских паломников, ни на запах мочи, пропитавший замаранные обои, высокие деревянные шкафы, матрасы, пыль, покрывающую хрустальную люстру, - ни на сильную вонь, исходящую от унитаза за загородкой в углу, ни на режущую боль в забинтованных запястьях. Даже ужасной этой боли она не замечает (может, только теперь, когда всё готово и я очистилась, та боль кажется такой ужасной?) Только продолжает настаивать перед этими двумя, беззастенчиво пялящимися на нее с ухмылками, что ей нужно прямо этой ночью, да, уже этой ночью, выйти на крышу, ради этого она и приехала, именно ради этого! Снова и снова повторяет она одно и то же, глядя на их широкие, дрожащие и ускользающие ладони, указующие ей путь на крышу, а они увязываются за ней, поскальзываясь и спотыкаясь, поднимаются следом по тесному проходу, липнут к ней, протискиваясь между грудями поломанной мебели.

Ты так извертелась в простынях, что в конце концов снова зажгла ночник. Опять вспыхнул густой сноп жара. Под ребро вонзился том «Законов раскаяния». Поспешно кинулась разглаживать смятые страницы, но, несмотря на бессильные мольбы: «и отдаляться весьма от того, в чем согрешил, и переменить имя свое», слипшиеся, загнутые страницы продолжали топорщиться, а сквозь твою слабость та, прежняя, с кружащейся головой выскочила на крышу, как пьяная бросилась навстречу мягкой бездне мрака в чаше ночи, доверив вес своего тела каменному теплу парапета, перегнувшись через него в сползающем платье, грудью навстречу ночи, как тот, кто до конца пробежал весь путь и уткнулся лицом в льющееся сияние накатывающих и расступающихся сводов тьмы. Она плыла, и дрожью наполнились ее бедра, живот, мышцы рук, вытянутая шея, растрепавшиеся волосы со звездным венцом, мерцавшим в струях мрака.

Ты вытщила себя из постели, когда в окнах еще стояла темень. Наощупь пробралась в уборную, пугаясь шершавого прикосновения стен в узком коридоре. В смирении перед утром, которое предстоит принять, омыла руки, а с крыши всё еще лилось ее разнuzданное, возносящееся к Тебе всей душой пение.

Волосы ее выплескиваются за парапет, она хохочет и тянет к ночи свои страшные запястья.

Без сил приступила ты к утренней молитве, когда уже побледнели окна и отдельные приметы жизни выступили из тьмы и снова предстали взгляду по углам. Убитым голосом прочла «Господь мой, душа, что Ты мне вручил» и благословения зари и, несмотря на то, что не пропустила ни одного гимна, и особенно долго тянула и тщательно выпевала каждый звук в слове «един», так и не смогла отделаться от биения ее тела внутри себя. От нее, той, что поет на крыше и в тот миг, когда темно-серые небеса уже начинают отделяться от нагромождения куполов и внезапно усиливается шелест столпившихся за стеной деревьев, пускается вплавь, вытянув свое горячее тело и перекрывая пением скрежет железных колес приближающейся из проулка тачки, пока рассветные порывы ветра гоняют мусор по плоской крыше. Она перегибается через каменный парапет, вытягивая шею, она вся обращена к Тебе, вся в Тебе, Милосердный и Ужасный, она льется навстречу Твоим объятиям, буре Твоих небес, навстречу краху, Твоя всей душой, столп света, пламя трепета. А улица уже подернута голубоватой дымкой, и колеса тачки всё громче тарахтят по камням мостовой, но она не перестает петь и тогда, когда длинный силуэт толкающего тачку грубо вскидывается на нее с запрокинутой головой. Она лишь повышает голос, словно награждая первого из свидетелей струящимся из нее новым светом, а тот протягивает навстречу ей, выросшей над крышей, свое темное лицо, резко взмахивает рукой, и его хриплый смех отзывается эхом в проулке, уже вспыхнувшем розовым заревом восхода, - долгим, раскатистым, режущим слух хохотом, пока он снова сгибается, припадая к своей тачке. И снова железо грохочет о камень, и в тени распахнутых навстречу холмам ворот он ещё раз напоследок поворачивает к ней укрытое тьмою лицо и новым слабеющим хохотком умножает уже начавшее стихать эхо, и удаляется за пределы стен за тачкой, катящейся под уклон к лежащему в серебристом свете городу. А она стоит там и поет, плывет и поет над куполами, и трепещущий свет зари на краю моря антенн и башен поднимается и расправляет свой красный парус, а она всё поет и поет.

С тяжелым сердцем согнула ты колена и распрямилась в молитве «Амида»*6, а потом закончила омовение и покорно, как делала каждое утро, уложила вокруг головы косы. Но в изнеможении дожидаясь у кухонного стола, пока вода закипит в эмалированной кастрюльке, ты понимала, хоть и не признаваясь в этом прямо, что вышла из этой ночи разгромленной и что сделанного не воротить. Смахнула скомканной тряпкой последние крошки со стола и вздрогнула: не чистыми руками начнешь ты ткать святые талиты, натягивать белоснежные нити основы. И еще поняла, и от стыда пот покрыл лицо, что отправишься этим вечером, как было намечено, будто ничего не произошло, в дом рава Исраэля Готхельфа, где из уст его услышишь об уготованном тебе брачном союзе.

Тем не менее, ты произнесла благословение после еды, и слова остались на губах оскверненными, и от головокружения пришлось держаться за стены в коридоре, пока ты не склонилась над пакетами и не рухнула, задыхаясь от чувства вины, и нетвердыми руками не начала поспешно разрывать бумагу над мягкой белизной шерстяной пряжи.

Трудно объяснить страхи. То, что случившееся в прошлом году началось снова, оказалось еще тяжелее, чем я предполагала... Как удастся мне сказать: «я другой человек, а не тот, кто совершил поступки те»?.. Как найти мне в себе душевные силы, чтобы исповедаться во всем, что произошло потом, завершить исправление?..

(Слишком велика моя усталость, и даже если бы захотелось, нет ни одной двери, в которую я могла бы постучаться.)

Ночь Великолепия в Силе. Вот-вот заря вонзит в сердце то, что кажется мировой тьмой. И кто знает, действительно ли мне удалось усилиями этой ночи исправить то, что я нарушила в сефире «Слава в Великолепии». Нельзя более откладывать работу, другой возможности не остается, ведь никогда уже не повторится для меня этот день...

Молю, Господи, узри, что опускаются руки мои, выжата я и брошена, и нет милующего, и нет утешающего кроме Тебя...

Пойду промою глаза и выйду босая, сяду у дверного косяка. Сейчас, в конце второй стражи. Как каждую ночь, когда посыпаю я лоб пеплом, подобно плакальщикам Сиона, и проливаю слезы над разрушением его, и слова полуночной молитвы исправления омывают уста мои. Вот и этой ночью укреплюсь я, насколько достанет сил, дабы завершить исправление.

Только память о Завете и верность зорких глаз Твоих, освещающих конец пути, всё еще способны укрепить

*Сегодня одиннадцать дней – неделя и четыре дня Счета снопов.
Вечность в Силе.*

Смятение этой ночи, словно угроза эпидемии, поразившей в дни Омера учеников рабби Акивы, не почитавших друг друга и умерших лютой смертью... С тех пор, как начала я позапрошлой ночью покаяние, я словно утратила равновесие... И этой ночью – беспокойство, будто возвратились ветры носиться над землей, и тревожат меня... Сейчас, в Вальпургиеву ночь, ночь на первое мая, Вечность в Силе... Словно их крики путают мысли, отталкивают пальцы...

Да, я знаю, «из путей раскаяния: должно кающемуся вопиять постоянно пред Именем Господним в плаче и мольбах» - я кричала; «и творить милостыню посильную, и отдаляться весьма от того, в чем согрешил» - отдалилась почти безвозвратно; «и переменить имя свое» - уже дважды и трижды я переменяла имя, чтобы сказать: «я другой человек, а не тот, кто совершил поступки те»; «и уйти из места своего» - и вот ушла я на самый край света, путями, которыми не вернуться назад, дорогами, ведущими к руинам, лишь затем, чтобы дойти, наконец, сюда, к последнему городу, к последнему дому, к последней черте на краю пустыни, к песку, оседающему на ладони Твоей и Иерусалим сильным пребудет гора Сион опустела и лисы бродили по ней...

Продолжать сейчас же. Вопреки малодушию, вопреки боязни того, что нужно исправить этой ночью... Укрепиться и продолжать – Твоею силой, если не в силах я

Молю, Господи, сотвори ради Имени Твоего...

Утром десятого дня омера в прошлом году помолилась «да будет воля Твоя» перед началом работы над талитами и начала высвобождать сияющую белизну из бумажной обертки, не обращая внимания на голос, еще накануне пробившийся к тебе и ночь напролет продолжавший бить тревогу, становясь сильней и сильней. И быть может, ты не бросила всё только из-за душившего тебя страха перед тем, что не дремлет. Бездумно погрузила пальцы в мягкость белой пряжи, и мимолетное малодушие коснулось тебя, словно дыхание Малы. Мала вновь задышала у твоей щеки, и ее волнение, которое, казалось, давно уже оставило тебя, вплелось в твое дыхание и заполонило его. Комната, ткацкий станок, окна – всё пошло кругом, пока ты не отдышалась, и тепло не вернулось в пальцы, вцепившиеся в пряжу.

Когда она прикоснулась к девочке в первый раз, той было четыре года. Ее вторжение в глухую череду долгих безмолвных месяцев тусклой повседневности было настолько жестоким, что продолжает жечь сквозь их пелену.

Родителей не было дома, и девочка осталась наедине с тетей Геней, приехавшей к ним из Хайфы. Неделю назад у нее был день рождения, и в тот день после обеда она ходила с папой покупать ей подарок на центральной улице. Сперва заглянули в лавку проверить, справляется ли мама одна. Лавка, как всегда, была полна крикливых раскрасневшихся женщин, боровшихся вокруг ящика с картошкой и вырывавших друг у дружки жалкий товар. Перепуганная мама, не говоря ни слова, стояла за прилавком. Девочка ждала возле провонявших гнилью ящиков с луком, пока папа выстраивал женщин в очередь и накладывал им картошку в чашу весов, а потом папа взял ее за руку, и они зашагали по большим криво уложенным плиткам тротуара. Она думала, что папа будет молчать, как всегда, и только изредка, словно очнувшись, скажет ей что-нибудь, и снова мрак будет скрывать его лицо, но сегодня он взял ее руку в свою, гладкую и большую, с прямо остриженными ногтями, наклонился и медленно произнес, что они с мамой решили купить ей подарок на день рождения – ксилофон. (Она еще не знала этого слова и не понимала, что означает этот подарок.) Он повторил, старательно выговаривая слога, и велел повторить за ним следом: кси-ло-фон, и она уже предпочла бы перебиться без подарка, только бы папа оставил ее в покое, ну и что, что она не может выговорить правильно: кли-со-фон, но папа крепко держал ее за руку и повторял, пока слезы не выступили у нее на глазах неизвестно почему, ведь ей собираются купить подарок – клисофон. Дома в зашторенной столовой, всегда пребывавшей в полумраке, папа поставил на стол маленький инструмент в форме лесенки, чьи цветные дощечки делались все меньше и меньше, а у последней, желтой с двумя гвбздиками по краям, положил две палочки с синими шариками на концах. В тот день папа не возвращался в лавку, а она не выходила играть во двор. Она осталась сидеть на высоченном стуле с мягкой обивкой, папины ладони сжимают ее руки в кулачки, и в каждом зажато по молоточку.

- Вот так. А теперь играй, детка, играй!

Она смотрит, не понимая, то на папу, то на разноцветный инструмент, который уже довел ее до слез прежде, чем она его увидела.

- Да, играй обеими ручками! Играй, Малинка! Вот так... - Он нагнулся, так, что его пиджак накрыл ее сзади, и ударил молоточками по дощечкам. – Да, вот так, вот так! Сильнее! – Он крепче сжал ее руки и ударил сильнее.

Она наверняка расплакалась бы от боли или, по своему обыкновению, изо всех сил держалась бы, стараясь не дышать, но неожиданно раздался высокий, вибрирующий, полный света желтый звон, а за ним еще один – зеленый, а за ним – синий, и она рассмеялась, а папа все еще улыбался ей и гладил по головке.

- Еще, еще, Малинка, - шептал он.

И она уже с головой погрузилась в радость этого звона, пробегая кулачками вверх и вниз по клавиатуре, поднимая и опуская молоточки, тянувшие за собой шлейф колокольных звуков и отзвуков - лиловых, розовых, синих.

Заливаясь смехом, она подняла голову, чтобы увидеть, как папа кружится с ней вместе в водовороте звуков, - и молоточки замерли у нее в руках. Лицо его было искажено, и он смотрел на нее, словно чужой.

- Ты играешь скверно, скверно, Амалия! – заревел он, отворачивая от нее покрытое страшной черной тенью лицо, и вышел из комнаты, оставив ее одну на стуле с колючей обивкой, цвета смешались и поплыли перед глазами в общей гадкой луже синих, оранжевых, лиловых и желтых пятен, а из другой комнаты доносился нервный топот папы, долго шагавшего из угла в угол.

Когда вечером мама вернулась из лавки, о ксилофоне больше не заговаривали. Он остался на комодe, рядом с большим радиоприемником – заброшенное цветное пятно в плену пронзительных звуков, несшихся из этого ящика, и подмигиваний его лампочек. И только на завтра в полдень, когда папа вернулся в лавку и она осталась одна, то сразу же, с еще грязными от дворовой пыли коленками, сняла с комода цветной инструмент, а заодно и молоточки, но, услышав через окно, как раздраженно переговариваются по-польски возвращающиеся родители, тут же оборвала красочный поток и быстро положила ксилофон обратно. Она даже ухитрилась пристроить молоточки чуть-чуть под наклоном, в точности так, как бросил их папа.

Несколько дней она так осторожничала, успевая всё вернуть на место прежде, чем они входили, и только в тот день, когда тетя Геня приехала к ним из Хайфы и весь распорядок в доме нарушился из-за того, что тетя Геня все время открывает и закрывает окна, она не обратила внимания на приближение папы с мамой и продолжала играть, когда они открыли дверь и вошли.

Папа ворвался в комнату, крича, чтобы она прекратила, что она только бренчит, а играть совсем не умеет, чтобы прекратила сейчас же, чтобы прекратила! А лицо его было покрыто черной тенью, руки дрожали. Мама вбежала за ним.

- Что ты хочешь от девочки, Сташек?! Что ты хочешь от девочки! Она никогда не играла, а ты хочешь, чтобы она сразу заиграла красиво? Три-четыре, так сразу, да? – она выталкивала его из комнаты всем своим слабым телом.

Когда, молча и словно через силу шагая рядом, как будто потеряют друг друга, если не будут вот так держаться вместе, они вернулись в лавку, тетя Геня осталась с девочкой, а на полу продолжали валяться ксилофон и его молоточки.

- Ах, Амалия, Амалия, ты, верно, ничёго не знаешь! – защebetала тетя Геня своим сладеньким голоском с запахом губной помады, всегда остававшимся на щеке, словно шрам от родственной любви. – Ниче-е-его, верно, не знаешь...

Разглядывая половицы, она вежливо, как полагается, улыбнулась тете.

- Тебе не рассказывали про маленькую девочку, которую любил папа? – засюсюкала тетя, будто рассказывала детскую сказку. – Была такая маленькая девочка, которая так играла великолепно на фортепиано! Как ангел! Она жила в домике рядом с нами и играла траурный марш Шопена только с того, что слышала, как его играют. Девочка - гений музыкальный, девочка – просто гений, Малинка...

Услышав свое уменьшительное имя: Малинка, она улыбнулась тете, продолжая рассматривать рисунок камешков в плитках пола, не прислушиваясь к неуклюжей болтовне, но что-то в голосе тети Гени было незнакомым, и она выпрямилась, не вставая с холодного пола. Тетя совсем не смотрела на нее, продолжая щебетать и качать напудренной головой.

- Папа твой играл на скрипке, когда был мальчиком, и ходил ежедневно после обеда до Малы, чтобы играть с ней. Я помню, как он уже тогда сказал, что они будут всегда вместе, жених и невеста, - хихикнула тетя. – Они всё время вместе были, и тогда, когда Малинка уже была большая пианистка, и Сташек уже не играл с нею. Она играла в «Старем Театре» и в опере. Все ходили ее слышать... И еще когда мы переехали в гетто, ей СС разрешали выходить и играть. Она была ангел наш. Ангел наш. Мала!..

Девочка не успевала следить за белой головой, скачущей из света в тень и обратно, и почему-то словно щипцами впивающейся ей в горло и в живот.

- Они ни разу не расставались, ни разу. Великая любовь Сташека... Даже в лагере, когда никому не было сил, она и папа твой делают план бежать вместе. Когда он работает в каменоломке... да... так вот... Ты не можешь себе представить, как уж она была великолепно! Какое геройство! Даже когда они хотят ее прикончить! Мы все стоим там, вывели из бараков на апель, стоят и смотрят ее. Как королева она была там, как на сцене, когда играет. Така горда! Смотрит на нас так, посреде апель-платц, и кончает себя бритвой, которую спрятала в волосах, така свободна! Мала!

Девочка не понимала, о чем говорит тетя Геня, и почему она говорит, что папа работает в каменоломке, а не в их зеленой лавке, и вообще, почему она говорит про бритву после того, как мама кричала, чтобы она никогда в жизни не смела с этим играть, и зачем резать волосы, и сердце ее дико колотилось – апапац, апапац, и в горле полно удушающих щипков – апапац.

Ночью в ее комнату вошла девочка в черном платье с белым воротничком, пооткрывала все ее ящики и стала рыться в ее вещах. Но она не закричала, потому что боялась, что девочка рассердится, и папа ее накажет. Она только подвинулась к стенке и освободила девочке место в постели, рядом с куклами, чтобы не сердилась. И вот уже несколько ночей эта девочка спит с ней в одной постели, прикасается к ней своим гладким платьем. Однажды она даже попыталась прикончить эту чужую девочку, но не смогла, потому что не знала в точности - как, и только позвала ее: «Малинка!» и засунула на апапаце под подушку, накрыла всё-всё и изо всех сил стала колотить по подушке, но вдруг сердце ее закричало, и она, страшно перепугавшись, подняла подушку, пока девочка в черном платье не умерла и папа не раскричался, и только лежала

сбоку с бьющимся сердцем и не двигалась, ведь теперь-то точно та другая убьет ее за то, что она натворила, а тем временем потихоньку составляла план, как она ее разденет и повесит совершенно голую, с палкой, которая воткнется ей в пипку, на повозку, как на карнавале, чтобы все на улице видели, как она висит голая, и смеялись над ней, даже мольчишки с другого двора, и об этом было приятно думать, хоть и страшно. Но потом тетя Геня уехала, и вторая Малинка больше не возвращалась по ночам, и она некрасиво играла на ксилофоне, и никто ей не делал замечаний. Но она еще долго прятала апапац под подушкой.

(Всё так неуловимо. Так невероятно. И только этот резкий крик. Ночь, как всегда, глубока, спокойна, всё, кроме меня, движется в ней по рельсам времени, по колее дыхания – сухость исходит от горячей пыли, ползет в пустыню, смешиваясь с дымом от горящего в соседских дворах навоза, пропитываясь тяжелыми запахами громоздящихся холмами перин, спускается ко дну оврага, к источнику, покрытому тьмой. Всё катится вперед, погруженное в сейчас, в завтра, в будущий год, в молодую преходящую плоть времени, а здесь только крик, иссушающий остатки живых соков, разрывающий всё без остатка. Здесь только сплошная неизбывная боль... Где же доля моя в нежности Тобою раскинутой ночи, как получить мне удел на склонах праха? Всё так неуловимо, будто ничего не случилось, и даже редкие наплывы тоски по Исайте лишь усугубляют молчание, стелятся в отдалении, словно набухшие слезами тучи, в ожидании зависшие на горизонте.)

Что я скажу пред Тобою, Сидящий в Горних, и что поведаю, Пребывающий в Небесах – ведь ведомо Тебе всё сокровенное и явное. Открыты Тебе секреты мира и тайны всего живого. Ты раскрываешь все отделения чрева и проникаешь почки и сердце... Нет сокрытого от Тебя и спрятанного от очей Твоих... Молю, Господи, не гневайся!

(И кто знает, не напрасны ли все усилия с бессчетными тончайшими нитями блестящего шелка, которые я вплетаю в голубой занавес в великой спешке этих дней, по десять-двенадцать часов в сутки, чтобы закончить к сроку... Кто знает, с какой стороны брэнного мира я тку – с лица или с изнанки...)

И в руке моей нить, вплетающаяся в занавес и, укорачиваясь, необратимо приближающая меня к Тебе

Двенадцатый день Счета снопов. Великолепие в Силе.

Мельком побывал здесь под вечер. Больше месяца не приходил. Я уже не ждала. Особенно с тех пор, как была объявлена его помолвка с Элишевой. Да и раньше у всего этого явно был дурной привкус. Ведь сказано ему было в последний раз, что нет смысла возвращаться, что всё это лишено смысла... (Может, я и нагрубила ему тогда, прежде, чем он ушел, только для того, чтобы дать ему повод вернуться, чтобы заставить его доказывать, что явился он исключительно ради выполнения заповеди посещения больных, ради благого дела... Исая...

Я и не представляла себе, насколько всё еще не зарубцевалось, всё так неустойчиво, по-прежнему живо...)

Когда он пришел, я была погружена в плетение лазурных нитей небес, и не обратила внимания на стук. Здесь, на склоне горы, резкий ветер часто колотит в дверь, да и арабские дети, из озорства или ненароком, кидаются камнями. Только когда неуверенный стук повторился, я встала. Он засуетился в дверях и смущенно проскользнул в коридор – тонкий вытянутый силуэт. Он и в комнате встал лицом к окну.

Я метнулась к станку, под предлогом того, что оставила шелковые пряди незакрепленными, и они могут соскользнуть с бобины и затеряться в путанице ниток. А он так и остался стоять лицом к окну, не в состоянии сдержать дрожь, пробегавшую по спине и шее. Потом, всё с тем же головокружением, я пробралась на кухню и привалилась к плите, стараясь, чиркая спичками, разжечь газовую горелку, пока наконец сопение огня лишь усилило воспоминание о близости, сгущавшейся в напряженной тишине между комнатой и кухней. Когда я вернулась с дымящимся чайником, он всё еще стоял у распахнутого окна. Поразительно, каким чужим делает его строгий черный пиджак, да и эта, так буйно разросшаяся, борода...

... Не могу избавиться от вида тонких его рук и ног, маячивших тут сегодня... Как это я воображала, что уже от всего отдалилась... Не думала, что его приход по-прежнему способен так взбудоражить меня, что всё еще живо во мне сказанное в Писании: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою»...

С клятвенной уверенностью обещала я принести Тебе жертву в положенное время. А теперь как решусь с чистой совестью признаться в том страхе, что всё же заставил тебя натянуть основу талитов, несмотря на то, что случилось той ночью... Спешешь со страха ухватиться за святое ткачество прежде, чем узнаешь имя своего будущего мужа на назначенной этим вечером встрече с равом Израэлем. Измотанная переживаниями, ты поторопилась расправить белые мотки пряжи, после того, как месяцами оттягивала получение разрешения на изготовление молитвенных покрывал и плетение нитей видения*8, сознавая, что еще не достойна, да и потом обратилась за ним с величайшим трепетом. Ведь ты только обманывала себя в то утро, будто это мягкий девственный свет, полный весенних обещаний, как открытие Врат Востока, соблазняющий тебя взяться за утреннюю работу, вопреки ночной скверне. Подошла, завернувшись в свет, как в плащ, к пустому станку, к огромной его раме, торчавшей посреди комнаты странным чужеродным механизмом. Сняла остатки красной и зеленой шерсти, оставшиеся после работы над подушками, скомкала обрывки ниток и выбросила в мусор. И тогда обратилась к вскрытому пакету нового, белоснежного и шелестящего материала, осторожно подхватила обеими руками мягкие мотки, собираясь на руках своих перенести их по воздуху и закрепить на шпулке. И лишь в тот миг впервые обратила свой взгляд к потоку света в арке окна. Твои глаза впились в сероватый склон напротив в пластах глины и сгустках ночных воспоминаний. Он высился над долиной, нависая, словно гигантская стена сияющей пыли, грозившая обрушиться на окно. Ты с усилием оторвалась от этого зрелища, переведя взгляд на ощеренные железные зубья станка, сквозь которые тебе предстоит протянуть эту белизну, и в мареве удушья на крыше гостиницы вновь возникла та, со своим безумным

пением, и тут же вприпрыжку выбежала на тропу, спускающуюся от стены. Ты с болью покачала головой. Разве ты не сделала всё, чтобы вычеркнуть из себя те часы, как велел рав Израэль Готхельф, и вот опять она, нечистая, сбившаяся с пути, проснулась в тебе, углубляется в долину по узкой тропе, и за нею с восходом вспыхивают шпильи, она спотыкается на склоне, и ногти ее бороздят осыпающуюся землю, поднимается с разодранными в кровь коленками, сверкающими из-под задравшегося платья, того самого красного платья пропыленным подолом, и она продолжает петь и спотыкаться на склоне, между вытянувшимися навстречу пустыне кипарисами, и она всё еще поет...

Ты, тем не менее, закрепила белые мотки на челноке и толчком запустила машину на один оборот. Нити потянулись с бобин, всколыхнули мощный фонтан белых струй основы, сверкая, как кристальный воздух, распростертый перед той, сползающей со склона. С верхнего шоссе ей сигналият шоферы, и мальчишки-пастухи, скатывающиеся с горных уступов за своими козами, насмешливо кричат ей вслед. Жар пустыни спекся в ее членах, опустился на дно тяжелого, как пшеничные снопы, живота, и извилистая тропа увлекает ее всё вниз и вниз, навстречу прилепившимся к склону пластам суглинка, навстречу несущемуся из дворов лаю, навстречу средоточию сладости в глубине устланного садами оврага.

Шерстяная нить соскользнула с бобины и забегала перед глазами, заметалась с челнока и обратно. Ты изо всех сил держалась за вид этой бегущей, отступающей и возвращающейся нити на крыльях навоя. Ведь только этим усилием расплести белое и голубое, словно Суд и Милосердие, словно землю и небеса, а потом самозабвенным их соединением, бесчисленными рядами основы и утка, что поднимутся на станке из твоих рук, только благоговейным сплетанием их в ткань талитов, превращающихся в единство чистоты - ведь только этим усилием ты завершишь свое исправление в дни омера, только так станешь готовой к супружеству. Да, тебе необходимо укрепиться ткачеством, причем прежде, чем будет решен твой брак. И крылья навоя потянули и спустили нити с бобин. Ты с усилием остановила машину, сняла готовые ленты и разложила их во всю длину на полу – ленты основы, которые ты ревностно натянешь на станок. Потоки шерсти хлынули из рук, словно гигантские белые змеи покрыли всю комнату, но и та, другая, сквозь стекающий по твоим ресницам жар, следует дальше, проходит по каменному мостику над ручьем в глубине оврага и не задумываясь об опасности, идет по деревне в тени охристых глинобитных лачуг. Внизу – шелест смоковниц и гранатовых деревьев, гудение мух из сползающих к источнику лозняковых изгородей, а сверху – до белеющих стен и башен, висящих в дали, подобно порожденным жарой видениям, громоздятся на солнце крутые уступы.

Капли пота стекали с твоих слипшихся волос на веки и ослепляли солеными испарениями, а она, не оглядываясь, всё ломится вперед, к воде, продираясь сквозь чащу хлещущих по лицу веток, стягивает с ног сандалии, подбирает подол красного платья и бросается на землю. Ползя на коленях, она подставляет шею и плечи под струи холодной воды, стекающей ей на спину, на живот, на горячую грудь, на запястья, на ее страшные запястья, погружающиеся всё глубже в прозрачный холод.

Ты обняла кипу шерстяных полос, поддерживая их мягкий вес, и сердце забилось под застегнутой до самого подбородка рубашкой. С восхода мучившая тебя дрожь в коленях усилилась до тошноты. Зарылась покрытым испариной лицом в нежность священных струй, и от сладости трепаной шерсти зещипало

в носу. Сами собой всплыли в ночи слова: «и уйти из места своего, ибо изгнание искушает грехи», но, когда опять захлестнула тебя волна стыда, ты поперхнулась и только пробормотала: «и дай мне в сердце моем смирение и скромность», и с силой прижала к глазам пригорошни кипенной шерсти. Всё еще молясь, ты подняла ножницы и вдела влажные пальцы в их кольца. Попыталась направить их лезвия на груды готовых лент, и снова, не знаю, то ли из отвращения, то ли из влечения, почувствовала, как там, в пустыне у источника, со смехом, со сверкающими зубами, с горячими членами, прижатыми к нежной, влажной земле, сочащейся сладостью воды, разрывается ее живот, словно переполненный лопающимися зернами мякоти гранат, как сминаются груди и кожа зарывается в пыль. Ножницы бессильно упали из рук, отстриженные полосы шерсти лежат на полу, а над той всем грузом своих белых тесаных камней нависает парящий в вышине город, дышит ей в лицо и содрогается, пропитанный тяжелым духом, поднимающимся из пустыни, и в то время как твое нутро ноет, будто истаивая, в нее все глубже проникает жар «знака Завета», бьется, заполняет ее плоть, резгоня и оживляя отравленную ее кровь.

(Словно убийца, возвращающийся к пролитой им крови, ты вернешься на то место! С притворной невинностью, хитростью вернешься с ним на то место! А сегодня, когда он пил чай в этом затяжном молчании, устроив свои длинные конечности на табуретке, застегнутый в свой черный, чужой пиджак... «Если кто согрешил с женщиной и спустя какое-то время остался наедине с нею, и он, хоть и была в его власти, устоял против любви к ней и против позыва плоти, и против того запрета, что прежде нарушил, и удержался, и не преступил, то это – совершенно и подлинно раскаявшийся»... Но мне и самой не ясен смысл моего жеста после его слов, сказанных с обращенным к окну лицом, о том, что я исхудала, а затем, всё еще не глядя на меня, о том, что я должна беречь себя, и шея его дрогнула... Я думала, что он сейчас встанет и проскользнет к выходу, и тогда бессознательно протянула руку. Я и сама не знаю, хотелось ли мне, чтобы он остался, или чтобы ушел навсегда, но когда он испуганно поднял на меня глаза, взревела слепящая тьма)

Подняв концы белых шерстяных нитей, ты сжала пальцы, ведь всё в руках небес: Ты жалуешь человеку знание и обучаешь людей пониманию, и Ты возвратишь нас в полном раскаянии пред Тобой. И с мольбой, которая уже сама по себе принесла облегчение, ты встала и подошла к станку, невзирая на то, что та, другая, поднимается от источника, и тело ее благоухает, как у восставших из праха. Плоть ее не омыта и покрытые пылью волосы ее не расчесаны, в полуденный зной она карабкается по пылающим уступам в сторону Семинарии. «Нечистая и презренная» - ты жалостливо скривила губы, пересчитывая по четыре концы нитей, протянула их сквозь отверстия ламелей, сквозь глазки ремизок и железные зубья берда – прости нам, Отец наш, ибо грешили, помилуй нас, Царь наш, ибо преступали, ибо Ты есть Бог добрый и прощающий – закрепила нити на деревянном барабане с задней стороны станка, пока она шагает по горячему асфальту вдоль стены, пересекает пустоши между кварталами, перелезает через приземистые каменные ограды, направляясь по чужому адресу, запомнившемуся по случайному объявлению в макробиотической столовой в Сохо, и так, неомытая и измятая, в запылившемся красном платье, является она в прихожую «Приюта Рахили», врывается в

комнату, бесстыдно обратив свою еще горячую, всю в скверне, физиономию к сидящему там раву Исраэлю Готхельфу и требует, чтобы он принял ее немедленно, чтобы немедленно поговорил с ней наедине в комнате, она нервно смеется ему в лицо: прямо не верится, что я сюда добралась, вот что называется «Провидение», а? - нависает над ним голыми плечами и шепчет в ответ на его вопрос свое имя: Эмили, Эми, Амалия, Малинка... длинновато... – и снова раздражается долгим резким смехом.

Внезапно у тебя мелькнула мысль, что в талит, который сплетают твои пальцы, завернется мужчина и поцелует эти цицийот*7, и неприятная дрожь пробежала по позвоночнику.

(Исайя снова пенял мне на то, что я не добилась установки телефона, что опасно жить в таком месте без возможности вызвать помощь, если, не дай Бог, что-то случится...

...А какой тут может быть телефон, тут, в наблюдательной башне, в последнем шалаше на пути?... Ведь весть о свершившемся разнесется немедленно, прямо из залитых кровью глаз козла под обрывом к пылающему языку пурпурного шелка...)*8

Допоздна ты связывала по четыре шерстяные нити, всё больше мучаясь ужасом, что переносишь на станок нечистую основу. Ты работала, и молитва не сходила с твоих уст, словно ее словами ты защищала начало работы. Считала, вдевала и завязывала, не обращая внимания на усиливающуюся боль в плечах, не давая отдыха занемевшим пальцам, которые уже не чувствовали бега скользящих по ним нитей, крепя к корме парус, под которым тебе предстоит переплыть море дней. Уже была навешена половина основы - множество шерстяных нитей, с двух сторон закрепленных на планках, словно струны гигантской арфы, а ты еще старалась закончить навеску оставшейся основы прежде, чем отправиться на встречу с равом Исраэлем. Проходили часы, ты всё еще выхаживала от станка к кипе огромных шерстяных лент, разложенных на полу, и обратно, собирая и поднимая, пробирая сквозь отверстия ламелей, глазки ремизок, железные зубья берда, привязывая к рамке. Встало солнце, а ты еще не закончила работу. Лишь старые страхи делались всё сильнее, всё острее. И посреди всего, с натянутой между пальцами белой ниткой, ты с ужасом поняла, что настало время отправляться.

(Поднявшись, он еще постоял минутку, связанный ползушим по склонам сияниям. Стоял и не говорил ни слова, ни про основу занавеса, натянутую на станке, ни про кипу приготовленных мною бумаг на столе. И вдруг заторопился.

- Ну а теперь прощай, Амалия, - шепнул он и вышел в коридор.

У выхода остановился. Может, хотел сказать еще что-нибудь, а может, по своему обыкновению, целиком, телом и душой, погрузился в какой-то внутренний, одному ему слышный звук. Сквозь железный переплет форточки пробилась и заиграли на его затылке солнечные блики. И тут он поперхнулся, поспешил открыть дверь и выскользнул. И когда я поднялась за ним по трем ступенькам к порогу, не оставалось уже и следа от его скорых шагов по витку горной дороги. Соседский мальчик с бритой головой прошел в знойном сиянии полуденного часа, колотя оструганной палкой по пыли и покрикивая на желтого облезлого щенка, тащившегося по его стопам.

На столе в комнате оставалась его чашка, а в углу кухонной доски я нашла мешочек с печеньем – тайное приношение... А может, принес и застеснялся... Элишева пекла. Я всё еще не вылила остаток недопитого им чая из фарфоровой чашки. Завтра чай наверняка оставит на стенках чашки черно-красный ободок. Конечно, он не вернется, Тем более теперь, после того, как объявлена дата его помолвки. Явился, понял, что понял – насколько способен был понять – и удрал. Наконец-то отделался от нечисти и сказал «сознавшийся и отошедший да будет помилован»...

Нет, для него больше нет места в этих стенах. И как я могла продолжать об этом думать после всех принятых решений!

А в ущелье, под окнами, по-прежнему виден источник и расстилаются те же тропы – ее, твои, и все ваши шаги отпечатаны в них.

Да будет воля Твоя, дабы не стало во мне слабости или страха, да будет воля Твоя, дабы завершила я оставшееся, дабы только завершила оставшееся до конца счета.

Владыка Мироздания, Ты повелел нам приносить жертву постоянную в положенный срок, а ныне, за грехи наши, разрушен Храм и упразднена жертва. И нет у нас ни священника при жертве его, ни левита на помосте его, ни израилита на месте его. Посему да будет воля Твоя, дабы речь уст моих была важна и приемлема, и угодна Тебе, как будто принесла я Тебе жертву постоянную в положенный срок, в установленном месте и по всем законам ее...

Да будет воля Твоя, Господь Бог мой и Бог праотцев моих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Только продолжать перечисление имен Твоих, только снова и снова произносить имена Твои... Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Да сжалишься надо мною в великой милости Твоей... Да сжалишься... И возврати меня в полном раскаянии пред Тобою в великой милости Твоей, и соедини сердце мое с любовью и страхом пред Именем Твоим, Именем Твоим, Именем Твоим... И вспомни обо мне, и дай мне стать светом в свете Твоем, и просвети очи мои, ибо в свете Твоем увижу я свет, дабы могла я истинно служить Тебе... Ибо в свете Твоем увижу я свет...

Только к этому отныне страстно стремлюсь, только к этому... Дабы могла я истинно служить Тебе...

Перевод с иврита: Гали-Дана Зингер, Некод Зингер

ПРИМЕЧАНИЯ:

*1 Счет Снопов (Счет Омера) – Заповедь отсчитывать сорок девять (семью семью) дней от второго вечера Пасхи до Шавуот (Пятидесятницы). В каббале эти дни воплощают восхождение из нечистоты египетского рабства к чистоте Синайского Откровения, совершающееся через *сефирот* – десять сфер Божественной эманации.

*2 Талит (Талес) – молитвенное покрывало для мужчин.

*3 «Законы раскаяния» - книга Рабби Моше Бен-Маймона (Маймонида, РАМБАМа), являющаяся основным сводом правил по искуплению грехов раскаявшимися грешниками и возвращению к вере.

- *4 Четыре буквы «шин», «хет», «тет» и «алеф» образуют словосочетание «шехата» (в чём согрешил).
- *5 Выпрямить кривое - Выражение, пришедшее в разговорный язык из книги «Экклезиаст» гл.7; ст.13: «ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?»
- *6 «Амида» - Молитва, состоящая из 18 бенедикций и читаемая стоя три раза в день.
- *7 Цицийот (мн.ч. от цицит) – Прямоугольный кусок ткани с расположенными на четырех его концах «нитями видения», а также сами эти нити, постоянное ношение которых заповедано евреям в книге «Числа» гл.15; ст. 37.
- *8 Здесь проводится параллель с обрядом принесения в жертву «козла отпущения». На пути следования процессии от стен Иерусалима к обрыву над пустыней перед Мертвым морем, с которого сгонялся козел, были расположены временные наблюдательные башни и шалаши, где останавливались подкрепиться и передохнуть ведущие козла. Весть о том, что жертва принесена, немедленно передавалась в город от башни к башне поднятием красных полотен.